
ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В. Ю. ДАРЕНСКИЙ

КОНСТАНТЫ РУССКОГО СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

В статье рассматривается специфика исторических оснований русского социального идеала. Русский социальный идеал анализируется на основе ключевых факторов русской истории. Специфика этого идеала понимается как тесно связанная с сущностью человеческой свободы и искуплением национальных исторических ошибок. В историческом контексте рассмотрен феномен русской метафизики власти. Концепция русского социального идеала позволяет рассматривать российскую историю как духовный феномен, формировавший национальную культуру.

Ключевые слова: *Россия, социальный идеал, метафизика власти, свобода, история.*

Процессы модернизации современной России, развития различных сфер социальной, культурной и политической жизни имеют в своем основании два источника: с одной стороны, это освоение новейших форм и достижений современной цивилизации, которые имеют универсальный и глобальный характер, с другой – опора на национальную традицию, российский исторический опыт. Последний особенно важен на уровне общих моделей самоорганизации российского социума, поскольку они не могут быть просто заимствованы со стороны, но должны соответствовать конкретной специфике тех цивилизационных вызовов, которые переживает именно Россия в отличие от других стран, существующих в иных экономических, геополитических и природно-географических условиях. Для исследования этих моделей важнейшее значение

имеет обращение к российскому историческому опыту. В частности, актуализируется такое понятие, как «социальный идеал», всегда имеющий национальную специфику, поскольку этот «идеал» выработан специфическим опытом национальной истории. В данной статье предпринята попытка реконструкции ключевых компонентов русского социального идеала в историческом контексте.

Исследование специфики любого национального социального идеала может идти двумя путями: либо исходя из отражения этого идеала в национальной культуре – в философии и художественной литературе; либо исходя из анализа реальных исторических форм национальной жизни, их характерных особенностей. В первом случае мы сразу получаем некоторый «сублимированный» идеальный образ и моральный императив; во втором – получаем возможность увидеть те особые «механизмы» исторического творчества народа, которые позволили ему выжить в суровых условиях и стать таким, каков он есть. Первый подход более распространен, но второй более ценен, поскольку позволяет обнаружить те «секреты» национального опыта, которые сейчас особо востребованы, поскольку и ныне выживание и историческое творчество народа очень трудны.

В данной статье автор идет вторым путем, исходя из того, что национальный *социальный идеал* – это не некий отвлеченный образ должного, но опыт самой исторической реальности, только очищенный от его случайных и привходящих элементов, лишь затемняющих суть. В основе этого идеала, таким образом, лежит особый *архетип социальности*, воспроизводящийся в различных формах в разные исторические эпохи и обеспечивающий успешное жизнетворчество народа. Таким архетипом для России было и остается *выживание в условиях перманентной внешней агрессии и скудной природы благодаря особой культуре взаимопомощи («общинности») и культуре нестяжательства (приоритет духовного над материальным)*, которые, в свою очередь, вместе с историческим опытом определяли и *особое отношение народа к Российскойскому государству*. Именно в той мере, насколько реализовывался этот идеал в различные эпохи русской истории, зависела жизнеспособность народа и сила его государства, а отступление от него всегда вело к катастрофам.

Естественно, такая реконструкция реально существовавшего в самой русской исторической жизни идеала социальной жизни является поиском «идеального типа» (в веберовском смысле) обще-

ственных отношений, абстрагированного от его частных искажений и нарушений в различные периоды истории, в том числе и в нашу эпоху. Но эта реконструкция явно необходима именно для того, чтобы найти сущностное «ядро», исходную «модель» российского типа социума, без которой он бы вообще не возник и пространства Евразии были бы собраны в государство кем-то другим. Без осознания этой модели невозможно возрождение народа и сейчас.

На основе русского социального идеала выработывалась и четкая модель личностного развития: личность здесь – это способность человека к служению людям и душевной открытости. Для сравнения, на Западе личность – это способность человека к самоутверждению за счет других (стяжательство и эгоцентризм). Соответственно развитие государства на Западе – это экспансия, колонизация как эксплуатация других народов. Наоборот, Российское государство росло за счет мирного заселения земель и взаимовыгодного симбиоза с другими народами, ни один из которых не только не погиб (как это стало с аборигенами Америки и Австралии), но лишь получил новые, максимально благоприятные условия для развития.

Н. О. Лосский в исследовании «Характер русского народа» приводит из книги графа Кейзерлинга «Дневник путешественника» его замечание о русском народе: «...он один из всех европейцев обладает непосредственным отношением к душе своего ближнего»; поэтому среди русских легко завязываются знакомства: «через час кажется, что они были знакомы чуть ли не целую жизнь» (Лосский 2005: 55). Это не что иное, как *очень высокая степень развития личности* – но не в европейском ее понимании, а в русском, которое, очевидно, максимально близко к христианскому. Такое развитие личности было не только результатом тысячелетия жизни народа в лоне православной церкви, но и воспитывалось самими очень суровыми условиями жизни, требовавшей особой культуры братства и взаимопомощи, без которой невозможно было бы выжить народу.

В основе этой культуры, в свою очередь, лежала особая *культура смирения и покаяния*. Сомерсет Моэм, английский писатель и разведчик, проживший в России, отмечал следующее: «Тот, кто соприкоснется с русской жизнью или русской литературой, не может не заметить того огромного места, которое занимает в них чувство греха. Русский человек не только постоянно говорит вам, что он грешник, но он, по-видимому, и чувствует это и страдает от неутихающих угрызений совести. Это любопытный штрих, и я пытался

разобраться в нем. Конечно же, мы говорим в церкви, что мы жалкие грешники, но мы не верим этому, в нас живет спасительное осознание того, что это не так... Русские кажутся другими. Они более интроспективны, чем мы, и их чувство греха неизменно. Они воистину отягощены этим бременем, и будут каяться, в рубище и пепле, с рыданиями и жалобами из-за проступка, который несколько не беспокоил бы наше менее чувствительное сознание» (Моэм 1990: 362–363). С. Моэм также указывает на то, что англичанам такая русская личностная культура вообще не свойственна (по их понятиям, личность – это носитель «личной независимости»), и дает ей объяснение, которое не может не удивлять своей наивностью. Он пишет о русских: «...в целом он добр, жизнерадостен, не злопамятен. Он щедр и терпим к чужим слабостям... Если он отягощен убеждением в собственной греховности, то, очевидно, не столько из-за своего несовершенства или совершенства... но в силу каких-то физиологических особенностей» (Там же: 363).

Об этом есть и множество других свидетельств. Так, например, один революционер-«народник» вспоминал о своей «работе» среди крестьян: «Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям. Но тут я наткнулся всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими послылками одолевая делал из них свой вывод или подводил свой итог, а именно, утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты... По этому воззрению им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение собственно потому, что они сами поголовно пьяницы и забыли Бога» (цит. по: Нестеров 1980: 143). И пока в народе сохранялось аутентичное православно-христианское самосознание, любые попытки революционной пропаганды были безрезультатны, ибо считать в своих бедах «виноватым» кого-то другого – это антихристианская идея.

В целом эта особая, внешне кажущаяся «отсталой», но на самом деле очень *глубокая и сложная личностная культура братства, смирения и покаяния*, в свою очередь, была внутренним содержанием определенного социального идеала, воспитывающего эту культуру, и только через нее и реализуемого. Как писал Н. М. Зернов, «русская жизнь была насквозь проникнута идеей единой семьи... Не случайно и царя на Руси исконно называли Отцом; глубоко в народное сознание вошло убеждение в равенстве и взаимной ответственности всех детей великой России-матери.

Русские называли себя “православными”... Такое самоопределение, подчеркивающее исповедование истинного христианства, есть безусловный признак приоритета религиозного над национальным, лежащего в основе общества... народ составлял единое целое, и это дало ему силы мужественно преодолеть все трудности и лишения... это еще раз доказывает, что русские крайне серьезно относились к своему историческому идеалу и готовы были пожертвовать внешним благополучием и материальными благами во имя его сохранения» (Зернов 2010: 100–101). Важно понимать, что «родовое» сознание и восприятие социума как «большой семьи» было у всех народов, но только в *догосударственный* период их жизни, а затем быстро вытеснялось гражданско-правовыми отношениями и структурами. В России же, в силу особо суровых условий исторической жизни и глубокой христианизации нравственного сознания народа, возможного только в лоне православия, новые государственные отношения не только не разрушали «семейное» самосознание народа, но наоборот, усиливали его. Такое самосознание было еще чрезвычайно сильно и в период Великой Отечественной войны – оно в конце концов и стало одним из решающих факторов Победы, обеспечив такую огромную степень мобилизованности народа, на которую европейские агрессоры были совершенно не способны. Естественно, что сфера формально-правовых отношений в России развивается уже много веков, но она всегда имела лишь «надстроечный» характер и не подменяла собой подлинные человеческие отношения, как это происходило на Западе. Как справедливо отмечал С. Г. Кара-Мурза, «резкое расширение масштабов внедрения юридических норм (законов) в ткань человеческих отношений произошло на Западе в Новое время именно потому, что Реформация и атомизирующее воздействие рыночного хозяйства разорвали множество связей, которые действовали в предыдущий период. Законы – очень дорогостоящая и не всегда эффективная замена связей совести и любви. В русском народе до настоящего времени такой крупномасштабной замены просто не требовалось» (Кара-Мурза 2011: 199).

Рецепция западных норм права, начиная с эпохи Петра I, поэтому всегда имела двойственный результат: с одной стороны, она отвечала объективным потребностям модернизации российского социума, но с другой – часто вступала в противоречие с его внутренними органическими традициями. Вследствие этого на уровне массового сознания вырабатывался определенный скепсис относи-

тельно эффективности и справедливости правовых норм как таковых, что явно выразилось, например, в известной русской поговорке: «Закон – что дышло, куда повернул – туда и вышло». По этому поводу часто выдвигается тезис о «недостатке правосознания» в российском социуме и русском национальном характере. Но такая постановка вопроса явно является некорректной, поскольку скепсис по отношению к нормам права здесь был естественной реакцией на их неорганичность и частую неэффективность, то есть как раз наоборот – результатом трезвого взгляда на право и определенной рефлексии. Но в тех случаях, когда право было органично и эффективно, законопослушность россиян (за отдельными исключениями в лице явных преступников) всегда была очень высока. Об этом весьма ярко свидетельствует тот факт, что до 1917 г., а также большую часть «советской эпохи» уровень преступности в Российской империи и СССР был ниже, чем в большинстве стран Европы и в США тех же периодов истории (а также было намного меньше полицейских на душу населения).

Самосознание народа-семьи, имея огромную нравственную ценность и будучи очень мощным инструментом самооблигации, вместе с тем всегда оказывается и особо уязвимым в периоды вестернизации России. Историческая закономерность состоит в том, что «когда консервативные ранние культуры вступают в тесную связь с динамическими и развитыми соседними цивилизациями, древние устои рушатся, а не заменяются новыми. В результате народ оказывается без опоры как в старом, так и в новом. Для отдельных людей открывается широкое поле деятельности: одни начинают вести безнравственную жизнь, полную пороков, а в других проявляются огромные творческие возможности» (Шахермайр 1986: 49). Именно это трагическое «расщепление» народа постоянно повторяется в России все с новой и новой силой – и оно в конечном счете всегда было исходной причиной исторических катаклизмов, которые здесь случались. Однако именно сохранение, несмотря ни на что, самосознания народа-семьи у очень значительной части населения всегда было тем последним фактором, который до сих пор позволил не распасться ни народу, ни государству и не быть полностью колонизированными Западом.

Это самосознание народа-семьи, сформированное особо суровыми условиями жизни, с одной стороны, и православным воспитанием народа – с другой, определяет и совершенно особое отношение народа к государству – именно как общему защитнику

народа-семьи, без которого просто не выжить. Если западноевропейский обыватель не видел ничего страшного в смене своего подданства и гражданства, лишь подсчитывая свои выгоды или невыгоды от перехода в другое государство, то для русского человека все было совершенно иначе. Утрата своего государства означала если не прямой геноцид, то как минимум такое страшное угнетение завоевателями, которое едва позволяло выжить. Причем все иные государства для русских всегда были исключительно завоевателями, пытавшимися превратить Русь в колонию, а русских – в бесправных рабов. Таковы были и восточные, и западные завоеватели в равной степени. Этот тяжкий российский исторический опыт для народного сознания сделал государство почти сакральной ценностью, ради которой в случае крайней необходимости нужно жертвовать всем личным. Как пишет Ф. Ф. Нестеров, «русский патриотизм отличался от всякого иного своей беспредельной и безусловной, то есть не требующей ничего взамен, верностью государству. Если в Киевской Руси, как и в Западной Европе, в трудный час призывали ратников встать грудью на защиту своего домашнего очага, жен и детей своих, то Минин, напротив, предлагает “дворы продавать, жен и детей закладывать”, чтоб только “помочь Московскому государству”... одно и то же отношение к своему национальному государству перед лицом внешнего врага объединяло весь русский народ, от посадского человека Минина до князя Пожарского, от старостихи Василисы до фельдмаршала Кутузова... Чудовищное давление извне, испытываемое действительно всем народом, давало возможность... в течение веков воспитывать русский народ в духе такой любви к отечеству, такой преданности государству и государю» (Нестеров 1980: 128). Отсюда особое отношение и к монархии, и к государству в целом, сформировавшееся в русском историческом опыте.

Даже марксист М. Н. Покровский вынужден был сделать вывод: «Царизм являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян. Свои желания, свои понятия о справедливости крестьяне переносили на царя, как будто это были его желания, его понятия... В народе возможно было вызвать восстание только от имени царя, то есть не против существующего порядка, а на защиту его» (цит. по: Нестеров 1980: 143). Он приводит пример революционерки Е. Брешковской, которая писала: «Некоторые крестьяне спрашивали, нет ли под моими грамотами подписи царя или кого-нибудь из его семейства»; один крестьянин-сектант принял ее саму за «ца-

рицу или цареву дочку» (цит. по: Нестеров 1980: 143). По выражению Н. М. Зернова, царь понимался русскими как «глава народа-семьи» (Зернов 2010: 95). В свою очередь, на это базовое народное понимание царя и царства именно как нравственного, а не политического феномена затем еще накладывался и специфически религиозный смысл как «Помазанника Божиего» и единственного Православного Царства. Хотя «обвальное» разрушение такого понимания произошло вместе с секуляризацией сознания и было одним из главных факторов русской революции, однако оно очевидным образом осталось на уровне особого «национального архетипа», имеющего как негативные, так и позитивные стороны. Негативная сторона явственно проявилась в культе личности, а позитивная – в способности к национальной консолидации вокруг общего лидера, не раз спасавшей народ в периоды войн и хаосов XX в.

Как писал И. Солоневич, «монархия, конечно, не есть специфически русское изобретение. Она родилась органически, можно даже сказать, биологически, из семьи, переросшей в род, рода, переросшего в племя, и т. д. Отличительная черта русской монархии, данная уже при ее рождении, заключается в том, что русская монархия выражает волю не сильнейшего, а волю всей нации, религиозно оформленную в православии и политически оформленную в империи. Воля нации, религиозно оформленная в православии, и будет “диктатурой совести”. Только этим можно объяснить возможность манифеста 19 февраля 1861 г.: “диктатура совести” смогла преодолеть страшное сопротивление правящего слоя, и правящий слой оказался бессилён. Это отличие мы всегда должны иметь в виду: русская монархия есть выразительница воли, то есть совести, нации, а не воли капиталистов, которую выражали оба французских Наполеона, или воли аристократии, которую выражали все остальные монархии Европы: русская монархия является наибольшим приближением к идеалу монархии вообще» (Солоневич 2010: 109). Более того, можно сказать, что *мобилизационный* характер власти в России всегда делает российскую власть «монархичной» независимо от ее частной формально-юридической формы. Любые «противовесы» единому центру власти в России всегда с «математической» неизбежностью приводят к социальным катаклизмам и разрушению государства. Это объясняется тем, что российский социум имеет своеобразный *бисистемный* характер – он не только интегрирован как целостность, но и постоянно находится под воздействием извне, пытающимся лишить его самостоятельности.

И часть российского социума во все времена стремится не к внутренней системной интеграции со своим народом, а лишь к *внешней интеграции* в систему западного мира. Эта бисистемность впервые проявилась еще во времена св. Александра Невского, подвиг которого состоял не только в победах над внешними агрессорами, но и в ликвидации внутренней оппозиции прозападного боярства, стремившихся интегрировать новгородские земли в европейское сообщество в статусе полуколониальной периферии (этот статус их вполне устраивал как *иносистемную* группу в русском социуме). Эта коллизия, впервые правильно разрешенная св. Александром, стала затем, к сожалению, «парадигмальной» для всей дальнейшей российской истории. В полной мере она разыгрывается и в настоящее время.

Этой имманентной «монархичности» российской власти, в свою очередь, соответствует народная культура *предельного доверия к власти*, которая всегда оказывалась полностью оправданной и эффективной, поскольку привела русский народ к колоссальным успехам в строительстве государства, защите от внешних и внутренних врагов и способствовала созданию великой культуры. Катастрофы начались в XX в. именно потому, что сначала сам народ не проявил достаточной культуры доверия власти, поверив «революционерам», а в результате этого и получил совсем иную власть со всеми признаками подлинного деспотизма, возвращенного «передовыми» европейскими идеологиями: сначала марксистской – после 1917-го года, а затем либеральной – после 1991-го. И только лишь когда в народе возрождалась культура доверия власти, тогда и власть получала пространство для развития, сама перерождалась и становилась снова если и не «народной», то, по крайней мере, стимулирующей его развитие.

Культура доверия к власти основана не только на ее конечной эффективности, но также и на том «отеческом», «семейственном» характере и власти, и общественности в целом, о которых сказано выше. Власть в России не занимается таким жестким контролем внутренней жизни народа посредством юридических механизмов, как это имеет место на Западе. «Невероятная степень бытовой свободы», неизвестная народам Европы, всегда отмечалась добросовестными наблюдателями русской жизни. Таков *русский стиль жизни*: между «вольностью» и мобилизацией.

В качестве классического примера вспомним знаменитый разговор с англичанином о русских крестьянах, записанный А. С. Пуш-

киным и приведенным в статье «Мысли на дороге» (выделения в тексте мои):

«Строки Радищева навели на меня уныние. Я думал о судьбе крестьянина. К тому ж подушные, барщина, оброк! Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет 36. Я обратился к нему с вопросом: что может быть несчастнее русского крестьянина? Англичанин. – Английский крестьянин. Я. – Как! свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба? Он. – Что такое свобода? Я. – Свобода есть возможность поступать по своей воле. Он. – Следовательно, свободы нет нигде; ибо везде есть или законы, или естественные препятствия. Я. – Так; но разница: покоряться законам, предписанным нами самими, или повиноваться чужой воле. Он. – Ваша правда. Но разве народ английский участвует в законодательстве? Разве власть не в руках малого числа? Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными? Я. – В чем вы полагаете народное благополучие? Он. – В умеренности и соразмерности податей. Я. – Как? Он. – Вообще повинности в России не очень тягостны для народа; подушные платятся миром, оброк не разорителен... Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол крестьянину доставать оный, как и где хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2.000 верст, выработывать себе деньги. И это называете вы рабством? *Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простора действовать.* Я. – Но злоупотребления частные... Он. – Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских фабричных работников – волосы встанут дыбом... Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство с одной стороны, с другой – какая страшная бедность! *В России нет ничего подобного.* Я. – Вы не читали наших уголовных дел. Он. – Уголовные дела везде ужасны. Я говорю вам о том, что в Англии происходит в строгих пределах закона, не о злоупотреблениях, не о преступлениях: нет в мире несчастнее английского работника... Я. – Живали вы в наших деревнях? Он. – Я видал их проездом и жалею, что не успел изучить нравы любопытного вашего народа. Я. – Что поразило вас более всего в русском крестьянине? Он. – Его опрятность и свобода. Я. – Как это? Он. – Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки (у европейских крестьян того времени такое было еще не принято. – *В. Д.*). О его смысленности говорить нечего: путешественники ездят из края

в край России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия... Преимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны. Я. – Справедливо. Но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным? Он. – Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с вами? *Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?* Вы не были в Англии? Я. – Не удалось. Он. – То-то! Вы не видали оттенков подлости, отличающие у нас один класс от другого...» (Пушкин 1960: 127).

Западный социум отличает юридически четко регламентированная деятельность без крайностей «вольности» и мобилизации. Западный стиль власти построен по модели рынка: здесь власть – посредник в борьбе интересов, а политика – рынок оплаченных услуг. Для этого типа русский тип власти кажется «деспотичным», так как к власти применяется не русский принцип доверия, а рыночный принцип найма и контроля. По этой причине появилось множество наукообразных предрассудков. Особенно распространены экстремы и вечные колебания между сильной, авторитарной властью и хаотическим анархизмом» (Горичева 1996: 134). Это характерно не для русского сознания, а для сознания всякого народа, у которого разрушен его органический уклад жизни с помощью «революционных» событий. В нормальном состоянии для русских характерно органическое сочетание «отеческой» власти с естественной вольностью жизни, не стесняемой никакими чужеродными влияниями, и тем более никак не стесняемой государством. Но когда нормальный порядок жизни разрушен, искусственно создан «хаотический анархизм», тогда любой народ естественным образом ищет «сильной, авторитарной власти» просто с целью самосохранения. Это состояние совершенно противоестественно, и поэтому ошибочно приписывать его национальным чертам какого-либо народа, в частности русского.

Если же обратиться к реальной истории, а не к современным идеологическим клише, то тезис о «русском деспотизме» в сопоставлении с историей Западной Европы оказывается совершенно мифологическим. Во-первых, основная масса русского народа и других народов империи вплоть до революций XX в. имела самый минимальный и опосредованный контакт с государством, поэтому степень его так называемого деспотизма для нее была вообще безразлична. Реально абсолютное большинство русского народа

жило не в государстве, а в «миру» – общине, имевшей контакт с государством не напрямую, а через старосту и помещика. Отношения в общине строились на принципах морального авторитета ее членов, максимальной открытости и справедливости, и именно это сформировало тот максимально свободный, честный и искренний тип личности, которому так дивились иностранцы и который стал жизненным базисом великой русской литературы.

Например, пресловутое крепостное право – это европейский институт, пришедший в Россию в ходе ее вестернизации (в особо жесткой форме – с эпохи Петра I); в Западной Европе он возник намного раньше и существовал намного дольше, охватывая гораздо большую часть населения, чем в России, – и поэтому именно там, а отнюдь не в России, мог оказать намного более существенное влияние на национальный характер. Более того, сам этот институт в России сохранил свой изначальный *нравственно-религиозный* смысл – смысл службы государству, Отечеству, а значит, исполнения долга перед Богом, а не людьми. Кроме того, сам термин «крепостное право» крайне мифологизирован. Что за ним стояло в реальности? Только то, что из 40–50 рабочих дней в году 10–15 крестьянин работал на «барина», а весь остальной год (а это 300 дней!) был фактически предоставлен самому себе и обычно занимался частным промыслом. Для современного человека такое «крепостное право», скорее всего, показалось бы круглогодичным отпуском с небольшим перерывом.

Во-вторых, вопреки широко распространенному «русофобскому» мифу, уровень репрессивности российской государственности до 1917 г. был значительно ниже, чем у государств Западной Европы и США. Даже экстраординарные для российской политической истории действия Ивана Грозного по количеству жертв оказываются в несколько раз меньшими, чем действия многих западноевропейских монархов того же периода, и даже меньшими, например, чем количество жертв одной лишь Варфоломеевской ночи. В России никогда не было ничего подобного институту инквизиции или практике публичных пыток, существовавших в Западной Европе вплоть до начала XIX в. В период от восстания Пугачева до революции 1905 г. Российская империя была единственной в мире страной, в которой фактически не существовало смертной казни, применявшейся лишь в самых экстраординарных и единичных случаях. Классическим стало сопоставление казни нескольких декабристов, вызвавшей самый бурный и длительный резонанс,

и казни без суда и следствия несколькими годами позже в Париже 11 тысяч рабочих, которую французское общество просто «не заметило». Количество жандармов, количество преступлений и количество заключенных по отношению к общей массе населения (а также количество потребляемого алкоголя на душу населения) до 1917 г. в Российской империи также было в несколько раз меньшим, чем в странах Западной Европы и США.

Современными исследователями доказано также фундаментальное значение природно-климатического фактора для формирования русского национального характера (вторым фундаментальным фактором была специфика православной веры, а также необходимость постоянной обороны от внешних врагов). Первый фактор состоит в крайне тяжелых условиях ведения крестьянского хозяйства, а также выживания вообще: очень короткий период полевых работ (в 2–3 раза короче, чем в Западной Европе) и скудость почвы, заставлявшая постоянно отвоевывать ее у леса, что можно было сделать только общинным способом. Л. В. Милов отмечает: «Фундаментальные особенности ведения крестьянского хозяйства в конечном счете наложили неизгладимый отпечаток на русский национальный характер... Экстенсивный характер земледелия, его рискованность сыграли немалую роль в выработке в русском человеке легкости к перемене мест... чему не в последнюю очередь обязана Россия ее огромной территорией... С другой стороны, *тяжкие условия труда, сила общинных традиций, внутреннее ощущение грозной для общества опасности науперизации дали почву для развития у русского человека необыкновенного чувства доброты, коллективизма, готовности к помощи, вплоть до самопожертвования* (выделено мной. – В. Д.)» (Милов 1992: 39).

В силу крайне тяжелых климатических условий «в Восточной Европе на протяжении тысячелетий совокупность самых “естественных потребностей” индивида была существенно больше, чем на Западе Европы, а условия для их удовлетворения хуже... Иначе говоря, объем совокупного прибавочного продукта обществ Восточной Европы был значительно меньше, а условия его создания хуже, чем в Западной Европе» (Там же: 40). Мизерный совокупный прибавочный продукт, который удавалось получить даже при героических трудовых усилиях, обуславливал особую трудность содержания государства, которое было крайне необходимо для защиты от внешних врагов. «Именно это обстоятельство объясняет выдающуюся роль государства в истории нашего социума как тради-

ционного создателя и гаранта “всеобщих условий производства”» (Милов 1998: 347). Но такое государство, в свою очередь, вынуждено всегда быть максимально мобилизационным, что также формирует характер народа.

Все это приводило к трагическому «надлому» в русском характере: «Необычайно сложные природно-климатические условия основной исторической территории России, диктовавшие необходимость громадных трудовых затрат на сельскохозяйственные работы»; «отсутствие значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая в течение многих столетий не могло не создать настроений определенного скепсиса к собственным усилиям, хотя они затрагивали лишь часть населения... Приходится только удивляться, что категория равнодушных, не верящих в свои силы людей, да и просто опустившихся была незначительной. Что в целом народ русский даже в годину жестоких и долгих голодных лет, когда люди приходили в состояние “совершенного изнеможения”, находил в себе силы и мужество поднимать хозяйство и бороться за лучшую долю» (Там же: 346). Это формировало и мобилизационный характер народа, и его особые нравственные качества.

Первым из таких качеств была жертвенность, то есть способность жертвовать своей социальной «свободой» (а по сути, речь идет лишь о социальном эгоизме) ради полноты нравственной и духовной *свободы служения* Руси как защитнице истинной веры.

Вот как пишет об этом архимандрит Константин Зайцев в книге «Чудо русской истории»: «Все, и властвующие и подвластные, разнятся лишь формами зависимости – будь то “служба” властвующих, или “тягло” подвластных. Никто не скажет: это – мое, и действую я по моему личному праву. Не представимо то для Московской Руси, и в этом все равны, и селянин, и купец, и промышленник, и боярин и даже владетельный князь, способный поспорить о родovitости с Царем. О распределении благ спорить можно, и тут действуют обычные формы гражданского оборота и обмена, как и обычные формы судебного разбирательства. Но обладание благом не есть личное право, а есть основание для несения обязанности – и все разнятся лишь формой и объемом таковых, в системе всеобщего тягла и всеобщей службы. Знаем мы один образ отстаивания своего “права”: это когда нарушалось “место” в несении службы. Но и тут отстаивалась служилая честь, а никак не личное

право... Московская Русь вынуждена была сплавиться в монолит обязательной службы и обязательного тягла: только такой Русь могла – *быть*» (Константин 2000: 172–173).

Но главная основа самого бытия России в истории – способность к нравственному подвигу и, если нужно, самопожертвованию – оказывается одновременно и самой мощной побудительной силой к великим деяниям (отсюда мощь государства и самого народного «организма»), и самым хрупким и уязвимым для внешних воздействий основанием, поскольку предполагает постоянное воспроизведение этой способности к нравственному усилию, ничем не поддерживаемой, кроме христианской совести и примера великих предков. И стоит кому-либо соблазнить русских идеей земного благополучия и комфорта, подменить нравственное усилие компромиссами эгоистических «интересов» и т. д., как вся эта внешняя мощь окажется бесполезной и бессильной, и Россия начинает разрушаться нравственно и физически.

Именно уязвимость веры в справедливость государства является специфической причиной русских смут и революций, о чем В. В. Кожин писал так: «...восстания населения на Западе, как правило, преследовали конкретные *экономические* цели; между тем, сотрясавшие Россию мощные бунты были, по слову Пушкина, “бесмысленными”, то есть не имевшими прагматических целей и, как убедительно доказывал Ключевский, порождались утратой веры в наличную Россию» (Кожин 2002: 38–39). Это были бунты нравственного чувства справедливости, а не прагматические бунты собственников или нищих, как в Европе. Однако в XX в. произошла псевдоморфоза русского бунта: воспользовавшись русской тягой к нравственному бунту, «революционеры» использовали его в совсем иных, сугубо прагматических целях – с целью завоевания и разрушения России.

Этот важнейший аспект революции отражен в размышлениях протоиерея Всеволода Чаплина: «“Красных террористов”, по сути, было не так много... Почему же хранители российских традиций потерпели поражение? Почему две-три сотни красноармейцев легко брали власть в городах, совершенно не настроенных их поддерживать? Выскажу парадоксальную мысль: так произошло из-за православно-воспитания большинства народа. Люди, приученные любить, уступать и прощать, были попросту не способны стрелять сразу, без разбора и по всякому поводу, как это делали красные. В годы

революции и Гражданской войны победила не народная воля, а наглость и дикая жестокость» (Чаплин 2007: 108–109).

Тем не менее народ «переварил» и этих завоевателей. Как же это стало возможно? Снова приведем интересные размышления современного богослова протоиерея Всеволода Чаплина, касающиеся современности и самого ближайшего будущего: «В России все время возникает напряжение между реальной жизнью и западными идеями, принятыми властью за основу... Так было при многих монархах XVIII–XIX вв., так было при “марксистах”, так есть и сейчас... Не зря вздыхает демократический догматист, как раньше вздыхали догматисты коммунистические: все их клише и модели разрушаются о российский образ жизни, о наш народный характер»; нынешним западникам снова «хотелось бы изменить народ, подстроить его под свои идеалы. Но на самом деле выйдет иначе. Россия перемелет идеологию и строй западной демократии, как перемолола марксистский коммунизм, наполнив его совершенно иным содержанием... за фасадом формально прогрессивного, прозападного политического режима у нас всегда будет идти собственная жизнь» (Там же: 183–184).

Эти соображения подтверждаются не только реальным ходом современной российской истории, но и жизненными наблюдениями над реально сохранившимися чертами русского национального характера. Русский человек, независимо от своего этнического происхождения, везде сразу заметен благодаря своему *принципиально прагматическому* поведению и стилю жизни. Даже утрачивая порой ценностные ориентиры своего сознания, он все равно тем не менее никогда не станет «прагматиком», озабоченным лишь личной выгодой. Соответственно столь же ложными с русской точки зрения оказываются и другие понятия европейской идеологии. Актуализация *русского характера* в современных условиях является главным фактором возрождения жизнеспособного типа человека и *непотребительского общества с суверенными ценностями*.

Исходя из всего сказанного, формулировка исторических констант русского социального идеала может быть такой: *это непотребительское общество, в целом основанное на доминировании духовно-нравственных ценностей над материальными, с особым отношением к государству как гаранту существования народа в условиях внешней и внутренней русофобии, с особой культурой взаимопомощи и неформальных социальных связей «семейного» типа, с необходимостью постоянных свободных усилий по воз-*

рождению жизнеспособности народа вопреки деструктивным воздействиям современной цивилизации и возрождению исторического самосознания народа вопреки деструктивному и целенаправленному воздействию русофобской пропаганды.

Современный российский социум может эффективно развивать любые новейшие социальные институты и формы социальной активности, необходимые для развития современной техногенной цивилизации, без освоения которой Россия не выживет в современном мире. Однако само по себе это освоение также не означает выживание России в качестве именно России. Если будет утрачен тот ценнейший человеческий тип с его уникальными нравственно-психологическими чертами, в течение многих веков формировавшийся суровой русской историей и православием, само существование России утратит всякий смысл. Она в таком случае может стать пусть и развитой, но всего лишь одной из множества безликих американизированных стран «общества потребления». Высшей целью общества является не экономическое развитие, а создание более сложного и содержательного типа личности. В этом отношении Россия как раз остается мировым лидером и является намного более развитой страной, чем страны Запада и быстро вестернизирующиеся страны Востока. Хотя в России также чрезвычайно распространены западный, а теперь уже и общемировой, тип обезличенного человека техногенной цивилизации – эгоцентрического индивида с примитивными стандартизированными потребностями и столь же примитивным инфантильным мировоззрением; но смысловое ядро российского социума еще продолжает формировать и традиционный тип русского человека, *homo russicus*, провиденциально «законсервированный» в советскую эпоху и ныне способный внутренне противостоять экспансии Запада. Этот факт нужно всячески акцентировать в любых рассуждениях о путях развития современной цивилизации.

Литература

- Горичева, Т. 1996. *Христианство и современный мир*. СПб.: Алетейя.
- Зернов, Н. М. 2010. *Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев*. СПб.: Русская симфония.
- Кара-Мурза, С. Г. 2011. *Россия – не Запад, или Что нас ждет*. М.: Эксмо.

Кожин, В. В. 2002. Россия как уникальная цивилизация и культура. В: Кожин, В. В., *Победы и беды России* (с. 7–61). М.: Эксмо-Пресс.

Константин (Зайцев), архим. 2000. *Чудо русской истории*. М.: Форум.

Лосский, Н. О. 2005. *Характер русского народа*. М.: Дарь.

Милов, Л. В.

1992. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса. *Вопросы истории* 4–5: 7–42.

1998. *Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса*. М.: РОССПЭН.

Моэм С. 1990. Из «Записных книжек». В: Моэм, С., *Каталина* (с. 337–372). К.: Политиздат Украины.

Нестеров, Ф. Ф. 1980. *Связь времен. Опыт исторической публицистики*. М.: Молодая гвардия.

Пушкин, А. С. 1960. Мысли на дороге. В: Пушкин, А. С., *Соч.*: в 10 т. Т. VI. *Критика и публицистика* (с. 392–396). М.: Худ. лит-ра.

Солоневич, И. Л. 2010. *Народная монархия*. М.: Институт русской цивилизации.

Чаплин, В., прот. 2007. *Лоскутки*. М.: Дарь.

Шахермайр, Ф. 1986. *Александр Македонский*. М.: Наука.